

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

“ТЫ, ЖГУЧИЙ ОТПРЫСК АВВАКУМА...”

4. Встреча с “Нечаянной Радостью”

“Александр Александрович!

Я, крестьянин Николай Клюев, обращаюсь к вам с просьбой – прочесть мои стихотворения, и если они годны для печати, то потрудитесь поместить их в какой-либо журнал. Будьте добры – не откажите. Деревня наша глухая, от города далеко, да в нём у меня и нет знакомых, близко стоящих к литературе. Если Вы пожелаете мне отписать, то пишите до 23 октября. Я в этом году призываюсь в солдаты (21 год), и 23 октября последний срок. Конечно, и родные, если меня угонят в солдаты, могут переслать мне Ваше письмо, но хотелось бы получить его раньше...”

Начало письма – не более чем почтительная просьба к известному поэту от начинающего, приславшего 5 стихотворений.

Но далее – Клюев делится впечатлением от блоковских стихов. И эти строки берут Блока за сердце.

“Мы, я и мои товарищи, читаем Ваши стихи, они-то и натолкнули меня обратиться к Вам. Один товарищ был в Питере по лесной части и привёз сборник Ваших стихов; нам они очень нравятся. Прямо-таки удивление. Читая, чувствуешь, как душа становится вольной, как океан, как волны, как звёзды, как пенный след крылатых кораблей. И жаждется чуда прекрасного, как свобода, и грозного, как Страшный Суд... И чудится, что ещё миг – и сухим песком падёт тяготенье веков, счастье не будет загадкой и власть почитанием. Бойцы перевяжут раны и, могучие и прекрасные, в ликующей радости воскликнут: “Отныне нет Смерти на земле, нужда не постучится в дверь и сомнение в разум. Кончено тленное пресмыкание и грядет Жизнь, жизнь бессмертным и свободным, – как океан, как волны, как звёзды, как пенный след крылатых кораблей”.

Книга, которую читал Клюев – “Нечаянная Радость”, второй по счёту сборник блоковских стихов. И слова Клюева – не просто пересказ предисловия Блока к “Нечаянной Радости”: “Слышно, как вскипают моря и воют корабельные сирены. Все мы потечём на мол, где зажглись сигнальные огни. Новой Радостью загорятся сердца народов, когда за узким мысом появятся большие корабли”. И даже не сердечное переживание мотива “корабля верных”, памятного по братству христов... Он посылает Блоку свои стихи с просьбой “поместить их в какой-либо журнал” и просит прислать “Нечаянную Радость” в личное пользование (ибо, как можно понять, с книгой этой он знакомился из рук неназываемого “товарища”) – не из потребительских сообра-

Журнальный вариант. Продолжение. Начало в № 1, 2, 3 за 2009 г.

жений... Это были внешние знаки, опознавательные сигналы, событийные жесты, приглашающие к мыслительному и душевному общению двух (Клюев это чувствует) братьев в духе.

Он не ошибался тогда в своём ощущении. Ответное письмо Блока и присылка “Нечаянной Радости” стали поводом для следующего — ещё более откровенного и взволнованного письма.

“Я получил Ваше дорогое письмо и “Нечаянную Радость”, умилён честью, которую Вы оказали мне Вашей сердечностью ко мне, так редко видящему доброе человеческое отношение.

В лютой нищете, в тёмном плену жизни такие переживания, какие Вы доставили мне, — очень дороги. Благодарю Вас!

Вы пишете, что не понимаете крестьян, это немножко стесняет меня в объяснении, поневоле заставляет призывать на помощь всю свою “образованность”, чтобы быть сколько-нибудь понятным. Раньше я читал только два отдела Вашей книги — “Нечаянная Радость” и “Ночная фиалка”, остальное было вырвано, теперь прочёл всё и дерзаю сказать Вам, что несмотря на райские образы и электрические сны, душа моя как будто раньше видела их, видела — “Осеннюю волю”, молодость, сгубленную во хмелю, незнаемый, но бесконечно родной образ, без которого нельзя плакать и жить, видела Младу — дикой вольности сестру, “Взморье” с кораблём, уносящим торжество, чаяние чуда и прекрасной смерти.

Простите мою дерзость, но мне кажется, что если бы у нашего брата было время для рождения образов, то они не уступали бы Вашим. Так много вмещает грудь строительных начал, так ярко чувствуется великое окрыление!.. И хочется встать высоко над Миром, выплакать тяготенье тьмы огненно-звёздными слезами и, подъяв кропило очищения, окропить кровавую землю, в славословии и радости дав начало новому дню правды.

Вы — господа, чуждаетесь нас, но знайте, что много нас, не утолнённых сердцем, и что темны мы только, если на нас смотреть с высоты, когда всё, что внизу, кажется однородной массой, но крошка искренности, и из массы выступают ясные очертания сынов человеческих, их души, подобные яспису и сардису, их рёбра, готовые для прободения.

Вот мы сидим, шесть человек, все читали Ваши стихи, двое хвалят — что красивы, трое говорят, что Ты от безделья и что П. Я. пишет лучше Вас, — за сердце щиплет, и что в стихотворении “Прискакала дикой степью” слово “красным криком” не Ваше, а Леонида Андреева, и что Вы — комнатный поэт, стихотворение “День поблек — изящный и невинный” — одна декорация и что после первых четырёх строк — Вы свихнулись “не на то”. Что такое “голубой кавалер”, нимб, юр? Что “Сказка о петухе и старушке” — это пожар в причте. Милые, милые, дорогие мои братья! Я смотрю на них и думаю: призри с небеси и виждь, и носе за виноград сей, уже насади десница твоя!

Наш брат вовсе не дичится “вас”, а попросту завидует и ненавидит, а если терпит вблизи себя, то только до тех пор, покуда видит от “вас” какой-либо прирост. О, как неистово страданье от “вашего” присутствия, какое бесконечно-окаянное горе сознавать, что без “вас” пока не обойдёшься! Это-то сознание и есть то “горе-гореваньице” — тоска злючая-клевушая, — кручинушка злая беспросветная, про которую писали — Никитин, Суриков, Некрасов, отчасти Пушкин и др. Сознание, что без “вас” пока не обойдёшься, — есть единственная причина нашего духовного с “вами” несближения, и — редко, редко встречаются случаи холопской верности нянь и денщиков, уже достаточно развращённых господской передней. Все древние и новые примеры крестьянского бегства в скиты, в леса-пустыни есть показатель упорного желания отделаться от духовной зависимости, скрыться от дворянского вездесущия. Сознание, что “вы” везде, что “вы” “можете”, а мы “должны” — вот неодолимая стена несближения с нашей стороны. Какие же причины с “вашей”? Кроме глубокого презрения и чисто телесной брезгливости — никаких. У прозревших из “вас” есть оправдание, что нельзя зараз переделаться, как пишете Вы, и это ложь, особенно в Ваших устах, — так мне хочется верить. Я чувствую, что Вы, зная великие примеры ученичества и славы, великие произведения человеческого духа, обманываетесь в себе. Так, как говорите Вы, может говорить только тот, кто не подвёл итог своему мирозерцанию. — И из Ваших слов можно заключить, что миллионы лет человеческой борьбы и

страдания прошли бесследно для тех, кто “имеет на спине несколько дворянских поколений”.

Ещё я Вас спрошу: — хорошо ли делаю я, стремясь попасть в печать? Стремлюсь же не из самолюбия, а просто чтобы увидеть реальный результат затраченной незримой энергии. — Окружающим же меня любо и радостно за меня, — они гордятся мной, просят меня, чтобы я писал больше. Присылаю Вам ещё стихотворений — напишите, чего, по-Вашему, в них не хватает. Я мучаюсь постоянным сомнением — их безобразием, но отделять их некогда, надо кормиться, — а хлеб дорогой...

Пойду в солдаты, пропадут мои песни — про запас прощайте, примите на память мою любовь к Вам, к Вашей “Нечаянной Радости”.

Нельзя ли что-либо из моих произведений поместить в “Русское богатство” или “Трудовой путь”? С “Трудового пути” я получил 10 руб., за которые очень благодарен.

Если вздумаете писать, то пишете так: Олонецкая губ<ерния>, Вытегорский у<езд>, станция Мариинская, деревня Желвачёва. Клавдии Алексеевне Клюевой”.

Если первое письмо — приглашение к диалогу, то второе — выявление сущностных смыслов этого начавшегося диалога. Клюев сначала делится с Блоком радостью от чтения блоковских стихов — причём радостью о б щ е й, его самого и его “товарищей”. В ответ на уверение Блока, что тот “не понимает крестьян”, — даёт понять, что не все крестьяне одинаковы. И демонстрирует это опять же на примере восприятия блоковской книги. И оказывается, со слов Клюева, что по-настоящему понимает Блока только он один, а “товарищи” ставят Блоку в пример Якубовича (который ещё недавно был для самого Клюева путеводным ориентиром в поэзии), упрекают в “плагиате” и “комнатности”... На сии упрёки Клюев лишь отвечает раскавыченным и усечённым стихом из Псалтыри, где слышна молитва “Пастырю Израиля” о виноградной лозе, что “пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки” и которую ныне, оставшуюся без ограды, лесной вепрь подрывает и объедает лесной зверь: “Боже сил! Обратись же, призри с неба, и воззри, и посети виноград сей; охрани то, что насадила десница Твоя, и отрасли, которые Ты укрепил Себе”. Такой же виноградной лозой представляется Клюеву “Нечаянная Радость”, где само название связано с ликом Богоматери.

Не корит за непонимание, но жалеет Клюев своих земляков, и эту не унижающую жалость стремится передать Блоку, стремится вселить в него с в о ё понимание существующего непреодолимого духовного раскола между “чёрной” и “белой” костью. Клюеву они — “милые братья”, но и к Блоку он обращается, как к брату, и потому не приемлет его кажущихся серьёзными оправданий... При всей жёсткости выводимых на бумаге слов — тон Клюева совсем не жёсткий, он побуждает Блока каждой своей интонацией, каждым стилистическим поворотом перешагнуть ту черту, что кажется Блоку непереходимой. И совершенно органичными видятся в письме строки о “холопской верности... развращённых городской передней”... Он даёт понять: письмо это пишет человек — вольный духом и телом, чьи предки не знали ни крепостного права, ни рабской униженности... И не стал бы писать Клюев подобного письма, если бы не почувствовал в Блоке человека, радеющего за народ, и не ощутил бы его поверхностного представления о духовной жизни народа, не понял бы, что Блоку нужна помощь в познании духовных поисков народа... Он и сам нуждался в Блоке, как в путеводителе по миру поэзии, где Клюев ещё не чувствует себя так уверенно. Он, подмастерье, нуждается здесь в мастере. А сам он для Блока может стать путеводителем на путях познания “невидимой России”. Он хочет, чтобы Блок узрел в нём и поэта, и единомышленника, и друга.

Клюев пишет письмо, словно беседует с пришедшим к нему в соловецкую избушку. Пишет письмо, словно стихотворение в прозе. Здесь, в переписке с Блоком, и стал вырабатываться его уникальный стиль, в неразлагаемом единстве которого впредь будут существовать стихотворение, поэма, рецензия, статья, произнесённая и записанная речь, написанное письмо. Складывается единый многожанровый текст, по образцу единых текстовых сплавов древних книжников.

Клюев безошибочно почувствовал Блока и по стихам, и по ответному письму. 27 ноября того же года Блок пишет письмо к матери — единственно-

му по-настоящему близкому человеку на протяжении всей его жизни. В этом письме появляется «многомиллионный народ, который с XV века несёт однообразную и упорную думу о боге (в сектантстве)». И замечательное признание: «Письмо Клюева окончательно открыло глаза».

«Окончательно» – ибо к тому времени у Блока открылись глаза уже на многое. Он, по сути, был внутренне подготовлен к заочной встрече с Клюевым. За год до неё по заказу профессора Евгения Аничкова для 1 тома («Народная словесность») «Истории русской литературы» им была написана статья «Поэзия заговоров и заклинаний», работая над которой, Блок впервые прикоснулся к потаённой народной стихии, воплощённой в устном слове.

«Место умершего бога Пана заменил униженный, гонимый маг и знахарь, которого уже не открыто, но втихомолку посещают люди, прося его заступничества перед силами природы; эту природу он царственно заколдовал и подчинил себе... Обряды, песни, хороводы, заговоры сближают людей с природой, заставляют понимать её ночной язык, подражают её движению. Тесная связь с природой становится новой религией, где нет границ вере в силу слова, в могущество песни, в очарование пляски. Эти силы повелевают природой, подчиняют её себе, нарушают её законы, своей волей сковывают её волю. Опьянённый такою верой, сам делается на миг колдуном и, тем самым, становится вне условий обихода. Это страшно для спокойствия домашнего очага, для здоровой правовой нормы, для обычая, который обтрепался и потерял смысл, протянувшись сквозь столетия, для церковного догмата, который требует слепой веры и запрещает испытывать тайну... Предметы, такие очевидные и мёртвые при свете дневного разума, стали иными, засияли и затуманились. От новых сочетаний их и новых граней, которыми они прежде никогда не были повернуты, протянулись как бы светящиеся отравленные иглы; – они грозят отравить и разрушить тот – старый, благополучный, умный быт – своими необычными и странными острями...»

Вот почему во все века так боятся магии – этой игры с огнём, испытующей жуткие тайны...»

Но человек – сам-друг с природой. Он может привыкнуть и к её маленьким зловредным бесенятам, которые вертятся тут же, в избе у ног, в борозде, оставленной сохой на ближней опушке. Он заговаривает их так же легко, как лёгкую болезнь или домашнюю удачу. Ему легко привыкнуть ко всему этому обиходу, созданному его тёмной, первобытной душой вокруг очага. А там, где появляется привычка, блеск поэзии затуманивается, притупляется её острота. И потому истинные перлы первобытной поэзии сверкают там, где неожиданное, непривычное событие падает на голову человека, возбуждает его гневом, тоской или любовью, распирает стены избы, лишает почвы под ногами и поднимает ещё выше холодное предутреннее небо...»

В заговоре как бы растут и расправляются какие-то крылья, от него веет широким и туманным полем, дремучим лесом и тем богатым домом, из которого сын ушёл на чужую сторону... Тот, кто узнал любовь, помнит о смерти. Душа его расцветает, она способна впивать в себя все цвета и звуки, дышать многообразием мира, причаститься к мировому Причастию. Влюблённая душа – самая зрячая и чуткая, она как бы видит вдаль и вширь, и нет предела её познанию мировых чудес. Это – душа кудесника, и влюблённый сам становится кудесником. Вот почему любовь, как высшая тайна, – родная стихия заклинаний...»

На фоне этой работы создавались стихотворения из цикла «Пузыри земли» с его «болотными чертенятами», «тварями весенними», «болотным попиком», весной, венчающейся с колдуном, и «чертенятами и карликами», лобызающими подножия «своего, полевого Христа»... И «Пляски осенние», в круговороте которых сам поэт ставится «вне условий обихода», «возбуждённый гневом, тоской и любовью», вовлекают его в круг, ставший сладким и непреодолимым соблазном, о котором писал Блок в очерке «Безвременье»:

«Открытая даль. Пляшет Россия под звуки длинной и унылой песни о безытности, о протекающих мигах, о пробегающих полосатых вёрстах. Где-то вдали заливается голос или колокольчик, и ещё дальше, как рукавом, машут рябины, все осыпанные красными ягодами. Нет ни времени, ни пространств на этом просторе. Однообразные канавы, заборы, избы, казённые винные лавки, не знающий, как быть со своим просторным весельем, народ, будто удалой запевало, выводящий из хоровода девушку в красном сарафане. Ли-

цо девушки вместе смеётся и плачет. И рябина машет рукавом. И странные люди приплясывают по щебню вдоль торговых сёл. Времени больше нет.

Вот русская действительность – всюду, куда ни оглянешься, – даль, си-нева и щемящая тоска неисполнимых желаний”.

*Осенняя реющей влагой,
Распустила ты пряди волос.
Хороводов твоих по оврагу
Золотое кольцо развилось.*

*Очарованный музыкой влаги,
Не могу я не петь, не плясать,
И не могут луга и овраги
Под стопою твоей не сгорать.*

*С нами, к нам — легкокрылая младость,
Нам воздушная участь дана...
И откуда приходит к нам Радость,
И откуда плывёт Тишина?*

*Тишина умирающих знаков —
Это светлая в мире пора:
Сон, заветных исполненный знаков,
Что сегодня пройдёт, как вчера.*

А далее будет “Русь” – “где разноликие народы из края в край, из дола в дол ведут ночные хороводы под заревом горящих сёл. Где ведуньи с ворожеями чаруют злаки на полях, и ведьмы тешатся с чертями в дорожных снеговых столбах...” Этот соблазн припадания к русской потаённой стихии увеличивала тяга к староверчеству, которая всё сильнее и сильнее овладевала Блоком, – к понимаемому “в лес и по дрова” расколу, как магнитом, тянуло многих из его же рафинированного столичного круга. В “Поэзии заговоров и заклинаний” есть одно чрезвычайно значимое для Блока наблюдение: “...У старообрядцев сохранилось много “двоеверных” заговоров, где упоминаются архангелы, святые, пророки; но имена их расположены на полустёртой канве языческой мифологии, и сами заговоры сходны вплоть до отдельных выражений с чисто языческими заклинательными формулами и молитвами...” И далее Блок приводит “народный стих заклинательного свойства, заимствованный, по-видимому, из апокрифов о Богородице и о крестном древе:

*Пресвятая Богородица,
Где спала, почивала?
В городе Ерусалиме,
За Божьим престолом,
Где Иисус Христос
Несёт сосуды:
Кровь и руда льётся
И снётся (?) и вьётся.
Кто эту молитву знает,
Трижды в день читает, —
Спасён бывает...*

Блок делает предупреждение, что этот стих читается в наши (в его) дни во Владимирской губернии – и староверческое “Иисус” ясно говорит о том, из какой среды вышло это заклинание, из среды, сохранившей в себе древнюю силу навсегда ушедшего языческого времени.

Эта сила неудержимо влекла Блока к себе, и он всё пристальнее вглядывался в лица, вчитывался в произведения людей, вышедших из народной стихии, из народного моря, взбаламученного революционным штормом. В журнале “Золотое руно”, издававшемся на деньги младшего сына староверческой купеческой династии Рябушинских – Николая Рябушинского, он на протяжении 1907 года публикует серию статей, одна из которых – “О реалистах” – стала яблоком раздора между ним и кругом его ближайших друзей-младосимволистов.

“... Если есть то великое, необозримое, просторное, тоскливое и обетованное, что мы привыкли объединять под именем *Руси*, — то выразителем его приходится считать в громадной степени Горького... неисповедимо, по роковой силе своего таланта, по крови, по благородству стремлений... и по масштабу своей душевной муки, Горький — *русский писатель*...” От повести Скитальца “Огарки” душа трогается, “как ледоходная река, какой-то нежной, звенящей, как льдины, музыкой...” Он не оставил без внимания и более мелких прозаиков — своего рода “чёрный хлеб” литературы, что, в чём он абсолютно уверен, нужен сейчас более “шоколадных конфет” вошедшего в модный обиход “модерна”.

“Эта литература нужна массам, но кое-что в ней необходимо и интеллигенции. Полезно, когда ветер событий и мировая музыка заглушают музыку оторванных душ и их сокровенные сквознячки. Это как случайно на улице услышанное слово, или подхваченный на лету трепет “жизни бедной”, или как простая, важная речь Толстого наших дней. Великое”.

Блок не питал никаких иллюзий в отношении своих недавних друзей — Андрея Белого, Сергея Соловьёва, Эллиса, не говоря уже о Дмитриии Мережковском и Зинаиде Гиппиус. Черта была подведена, о чём он со всей свойственной ему предельной честностью написал 20 апреля 1907 года: “Реалисты исходят из думы, что мир огромен и что в нём цветёт лицо человека — маленького и могучего... Они считаются с первой (наивной) реальностью, с психологией и т. д. Мистики и символисты не любят этого — они плюют на “проклятые вопросы”, к сожалению. Им нипочём, что столько нищих, что земля кругла. Они под крылышком собственного “я”.

Окончательно всё проявила публикация статей “Литературные итоги 1907 года” и “Религиозные искания и народ”.

Уже были написаны “Снежная маска” и “Земля в снегу” — когда Блок был совершенно окружен таинственной вьюгой, порыв которой разрушил прежнюю жизнь. Были созданы “Вольные мысли” и пережита тяжелейшая семейная драма, разрыв с некогда близкими, в частности, с Андреем Белым, который увидел “кошунство” в “Нечаянной Радости”... Пишется цикл “Заключение огнём и мраком”, а перед ним — “Осенняя любовь”, где явлена судьбоносная встреча обречённого с Воскресшим.

*Когда в листве, сырой и ржавой,
Рябины заалеет гроздь, —
Когда палач рукой костлявой
Вобьёт в ладонь последний гвоздь, —*

*Когда над рябью рек свинцовой,
В сырой и серой высоте,
Пред ликом родины суровой
Я закачаюсь на кресте, —*

*Тогда — просторно и далёко
Смотрю сквозь кровь предсмертных слёз
И вижу: по реке широкой
Ко мне плывёт в челне Христос...*

Всего лишь три года назад, летом 1904-го, Блок писал в письме к Евгению Иванову: “Мы оба жалуемся на оскудение души. Но я ни за что, говорю Вам теперь окончательно, не пойду врачеваться к Христу. Я Его *не знаю* и *не знал* никогда. В этом отречении нет огня, одно голое отрицание, то жёлчное, то равнодушное. Пустое слово для меня, термин, отпадающий, “как прах могильный”... Пройдёт год, наступит 1905-й, рубиконный для многих и для Блока в том числе, а он продолжит в письмах тому же Иванову в том же духе и ещё более лаконично, и с ещё большим нажимом: “Что тебе — Христос, то мне — НЕ Христос”. “Близок огонь опять, — какой — не знаю. Старое рушится. Никогда не приму Христа”.

Не Христа он пытался отвергнуть, а церковь, от которой тогда отшатывались многие и многие, ища собственного пути в поисках с в о е г о Христа — в богостроительстве, в богоискательстве, в религиозно-философских собраниях, в попытке припасть к староверчеству или к сектантству... Христос,плы-

вущий в челне, появляется в его стихах, когда им всё неотступнее овладевает дума о русском расколе, а в конце октября того же года он напишет ещё одно стихотворение, — увидит себя уже не на кресте, а в муках, тех, что принимали ревнители старой веры, вздымавшие над собой двоеперстие: “Како крещусь, тако и молюсь”:

*Меня пытали в старой вере
В кровавый просвет колеса.
Гляжу на вас. Что — взяли, звери?
Что встали дыбом волоса?*

*Глаза уж не глядят — клоками
Кровавой кожи я покрыт.
Но за ослепшими глазами
На вас иное поглядит.*

... Оставшийся в одиночестве, не понятый ни родными, ни друзьями, Блок с радостью откликнулся на голос Клюева. Невозможно переоценить его узнавание, что где-то “во глубине России”, в той среде, навстречу которой он ошупью пытается идти, нашёлся человек, для которого “Нечаянная Радость” не “кошунство”, а радость подлинная, что он нужен, как “учитель”, тому, кто знает свою нужность для самого Блока и не играет с ним, и не подлаживается к нему, а со всей откровенностью предостерегает его о далеко не идиллическом восприятии “их”, тех, кто “имеет на спине несколько дворянских поколений”, что среда эта не предназначена для “интеллигентских экскурсий”, что ею нельзя “интересоваться”, сохраняя при этом брезгливость и отчуждение.

... 12 лет спустя, в 1919-м Блок вспомнит это письмо и фактически в клюевской тональности запишет в дневник:

“... Я любил прогарцевать по убогой деревне на красивой лошади; я любил спросить дорогу, которую знал и без того, у бедного мужика, чтобы “пофорсить”, или у смазливой бабёнки, чтобы нам блеснуть друг другу мимолётно белыми зубами, чтобы ёкнуло в груди так себе, ни от чего, кроме как от молодости, от сырого тумана, от её смуглого взгляда, от моей стянутой талии, — и это ничуть не нарушало той великой любви (так ли? А если дальнейшие падения и червотчины — отсюда?), а, напротив, — раздувало юность, лишь юность, а с юностью вместе раздувался тот “иной” великий пламень...”

Всё это знала беднота. Знала она это лучше ещё, чем я, сознательный. Знала, что барин — молодой, конь статный, улыбка приятная, что у него невеста хороша и что оба — господа. А господам, — приятные они или нет, — постой, погоди, ужотка покажем.

И показали.

И показывают. И даже если руками грязнее моих (и того не ведаю и о том, Господи, не сужу) выкидывают из станка книжки даже несколько “заслуженного” перед революцией писателя, как А. Блок, то не смею я судить. Не эти руки выкидывают, да, может быть, не эти только, а те далёкие, неизвестные миллионы бедных рук; и глядят на это миллионы тех же не знающих, в чём дело, но голодных, исстрадавшихся глаз, которые видели, как гарцевал статный и кормленный барин. И ещё кое-что видели другие разные глаза — но такие же. И посмеиваются глаза — как же, мол, гарцевал барин, гулял барин, а теперь барин — за нас? Ой, за нас ли барин?

Демон — барин.

Барин — выкрутится. И барином останется. А мы — “хоть час, да наш”. Так-то вот”.

* * *

Те, кто негодовал на Блока после появления “Интеллигенции и революции”, могли бы вспомнить, что началось это негодование десятью годами ранее, после публикации статей “Литературные итоги 1907 года” и “Религиозные искания” и народ”, где он процитировал несколько самых, по его мнению, жгучих отрывков из второго клюевского письма. Но начал он вторую статью с самого насущного.

“Редко, даже среди молодых, можно встретить человека, который не тоскует смертельно, прикрывая лицо своё до тошноты надоевшей гримасой изнеженности, утончённости, исключительного себялюбия. Иначе говоря, почти не видишь вокруг себя настоящих людей, хотя и веришь, что в каждом встречном есть запуганная душа, которая могла бы, если бы того хотела, стать очевидной для всех. Но люди не хотят становиться очевидными, всё ещё притворяются, что им есть что терять. Это понятно для тех, у кого ещё не перержавели цепи всяческих “отношений”, чьё сознание ещё смутно. Но это *преступно* у тех, кто помнит, что он родился в глухую ночь, увидел сияние одной звезды и простёр руки к ней, и к ней одной. . .”

Говорю я особенно о писателях: об эстетях, уставших ещё до начала своей карьеры; об эстетях младшего поколения по преимуществу; о тех, кому не угодно сознать, что жизнь их должна быть сплошным мучительством – тайным и явным; должно им исколоть себе руки обо все шипы на стеблях красоты; нельзя им отдыхать на розовом ложе, чужими руками, не их руками для них разостланном. Они должны знать, что они ответственны, потому что одарены талантами. . .”

Мне скажут, что я говорю о невозможном, о том, о чём давно пора забыть, что я наивен, что литература давно перестала играть в жизни ту роль, какую играла когда-то. Возражений много, они известны; но я всё-таки говорю именно так; только о великом стоит думать, только большие задания должен ставить себе писатель; ставить смело, не смущаясь своими личными малыми силами; писатель ведь – звено бесконечной цепи; от звена к звену надо передавать свои надежды, пусть несвершившиеся, свои замыслы, пусть недовершённые. . .”

И после этого Блок переходит к самим “религиозно-философским собраниям”, к “образованным и обозлённым интеллигентам, поседевшим в спорах о Христе”, к “многодумным философам и лоснящимся от самодовольства попам”, которые “знают, что за дверями стоят нищие духом, которым нужны дела. . . Это – тоже своего рода потеря стыда; лучше бы ничем не интересовались и никаких “религиозных” сомнений не знали, если не умеют молчать и так смертельно любят соборно посплетничать о Христе”. Блок отделяет творчество ценимых им Мережковского и Розанова от их “религиозно-философской” деятельности. . . И в противовес всей этой мути, словесному кафешантану, которому он готов предпочесть кафешантан обыкновенный – приводит куски из Клюева, чьи слова кажутся ему “золотыми”. И о “строительных началах в груди” Клюева (которого Блок называет в статье “крестьянином северной губернии, начинающим поэтом”) и его товарищей, и о “ясных очертаниях сынов человеческих”, и о “неистовом страдании” от сознания, что “без вас” пока не обойдёшься”, и о крестьянском бегстве “в скиты и леса-пустыни”, и о том, что, по сути, речь идёт о двух разных обществах в одном – не имеющих не только общего языка, но и каких-либо точек соприкосновения. Именно об этом и писал Клюев Блоку, упоминая “глубокое презрение и чисто телесную брезгливость” дворян в отношении к народу.

Заканчивает статью Блок рассказом о “грозном и огромном явлении” сектанства – и здесь его гневный сарказм становился уже невыносимым для слуха участников религиозно-философских посиделок, особенно для тех, кто устраивал домашние “радения” вроде того, что состоялось на квартире старого символиста Николая Минского, когда собравшиеся кружились по комнате, имитируя “хлыстовскую пляску”, и пили воду с растворённой в ней кровью одного из участников, воображая себя участниками “хлыстовского жертвоприношения” в духе “художественных картин” Мережковского.

“Цитирую я пятикопеечную брошюру, изданную “Посредником” (И. Наживин, “Что такое сектанты и чего они хотят”). В этих пятикопеечных брошюрах случается находить иногда больше полезного, нежели в толстых и дорогих книгах и журналах. Есть в них, например, описание тех страшных пыток, которым подвергали так называемых “сектантов”. Многие ли из аристократических интеллигентов наших дней выдержат сибирские пытки? Все почти издохнут под первой плетью; сами сгноили себя – свои мускулы, свою волю – на религиозных собраниях и на вечерах “свободной эстетики”.

Реакция не заставила себя ждать. В “Речи” появился фельетон Мережковского “Асфодели и ромашка”: “И Александр Блок, рыцарь “Прекрасной Дамы”, как будто выскочивший прямо из готического окна с разноцветными

стёклами, устремляется в “некультурную Русь”... к “исчадию Волги”, хотя на счёт Блока уж совершенно ясно, что он, по выражению одного современного писателя о неудавшемся любовном покушении, “не хочет и не может”.

С Мережковским было всё ясно. Менее ясно с Василием Розановым, разразившимся хлёткой статьёй “Автор “Балаганчика” о петербургских религиозно-философских собраниях” в “Русском слове”. Ядовито назвав Блока “Экклезиастом”, он придирался к каждому слову блоковской статьи, а религиозно-философские собрания назвал “одним из лучших явлений петербургской умственной жизни и даже вообще нашей русской умственной жизни на всё начало этого века”. (Через 6 лет Розанов на своей шкуре узнает, что такое “свобода слова” в представлении участников этого “лучшего явления”. После его печатных выступлений по “делу Бейлиса” он будет исключён из общества стараниями того же Мережковского, а также А. Карташёва, А. Мейера, Н. Соколова, В. Богучарского и впервые появившегося на собрании религиозно-философского общества А. Керенского. Все поименованные персонажи входили в масонскую ложу “Великий Восток народов России”.)

В финале “Автора “Балаганчика”...” Розанов бросает на совесть слепленный ком грязи в адрес Клюева, о котором не имеет ни малейшего понятия, основываясь лишь на процитированных Блоком фрагментах письма: “Этот бородач, подпоенный шабли или “пенистой лирикой”, но скорее всего, кажется, “пенистыми” похвалами и лестью Блока, который в чём-то перед ним “каялся”, совсем развалился перед баринном и поучает его, что будто бы вся религиозность русского народа идёт... от зависти!.. Блок выбрал в корресподенты неудачного “мужичка”... Перед ним он, как рассказывают, имел вид (в письмах) “кающегося дворянина”, и тот ему написал “такое” в ответ, что-де “завидуем и ненавидим, а другого чувства не чувствуем”. Печальное “объяснение в любви”. Нам кажется, и Блок – не настоящий русский умный человек, образованный в работе и рабочий в образовании, и “мужичок” его взят откуда-нибудь из ресторана, где он имел достаточно поводов завидовать кутящим “господам”.

Надо было впасть в сильнейшее раздражение, чтобы, пытаясь защитить своё любимое детище (религиозно-философское общество), не просто исказить смысл клюевских строк, но вложить в них диаметрально противоположное написанному Клюевым, не понять и не почувствовать явленные в контексте блоковской статьи смыслы клюевского письма, столь схожие со смыслами розановского же сочинения “Психология русского раскола” десятилетней давности: “Есть две России: одна – Россия видимостей, громада внешних форм с правильными очертаниями, ласкающими глаз; с событиями, определённо начавшимися, определённо оканчивающимися, – “Империя”, историю которой “изображал” Карамзин, “разрабатывал” Соловьёв, законы которой кодифицировал Сперанский. И есть другая – “Святая Русь”, “матушка-Русь”, которой законов никто не знает, с неясными формами, неопределёнными течениями, конец которых не предвидим, начало неизвестно: Россия существностей, живой крови, непочатой веры, где каждый факт держится не искусственным сцеплением с другим, но силой собственного бытия, в него вложенного. На эту потаённую, прикрытую первую, Русь, – взглянули Буслаев, Тихонравов и ещё ряд людей, имена которых не имеют никакой “знаменитости”, но которые все обладали даром внутреннего глубокого зрения. К её явлениям принадлежит раскол”.

... На Блока “дикие критики озлобленья” действовали лишь освобождающе и вдохновляюще. Он зачитывал при встречах друзьям и знакомым выдержки из клюевского письма, как бы желая разделить с ними своё открытие и понимание “матушки-Руси”... В пьесе “Песня судьбы”, которую он считал ключевой для себя, двуединство голосов – его и Клюева – явлено в монологах “Человека в очках” (“Мы, писатели, живём интеллигентской жизнью, а Россия, неизменная в существе своём, смеётся нам в лицо. Эти миллионы окутаны ночью; ещё молчат их дремлющие силы, но они уже презирают и ненавидят нас. Они придут и, знаю, принесут неведомые нам строительные начала. Останется ли тогда какой-нибудь след от нас? Не знаю”) и Германа (“... Я в страшной тревоге, как перед подвигом!.. Сердце горит и ждёт чего-то, о чём-то плачет, но уже торжествует, заранее торжествует победу. И как будто вся вот эта необъятная ширь – заодно с моим сердцем тоже горит, и тоскует, и рвётся куда-то со мной заодно!.. Всё, что было, всё, что будет, –

обступило меня: точно эти дни живу я жизнью всех времён, живу муками моей родины. Помню страшный день Куликовской битвы. . . Я знаю, как всякий воин в той засадной рати, как просит сердце работы, и как рано ещё, рано! . . . Оять – торжественная музыка солнца, как военные трубы, как далёкая битва. . . а я – здесь, как воин в засаде, не смею биться, не знаю, что делать, не должен, не настал мой час! – Вот зачем я не сплю ночей: я жду всем сердцем того, кто придёт и скажет: “Пробил твой час! Пора!” А далее создается цикл “На поле Куликовом”.

*И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль...
Летит, летит степная кобылица
И мнёт ковыль...*

*И нет конца! Мелькают вёрсты, кручи...
Останови!
Идут, идут испуганные тучи,
Закат в крови!*

В ключевских письмах Блок и услышал это: “Пробил твой час. Пора!” На протяжении всего 1908 года он пишет и публикует статьи, выдержанные в тональности, заданной в “Литературных итогах” и “Религиозных исканиях”, принадлежащие к шедеврам литературной публицистики XX века: “Три вопроса”, “Солнце над Россией”, “Вечера искусств”, “Ирония”, “Народ и интеллигенция”, “Стихия и культура”. . . В последней, написанной уже декабре-месяце, он опять будет приводить в свидетельство Клюева – фрагменты его статьи “С родного берега”.

* * *

Статья эта была “подана” в виде письма к Виктору Сергеевичу Миролубову, редактору-издателю “Трудового пути”. В январе 1908 года Клюев в письме к нему из Николаевского военного госпиталя интересовался судьбой своих произведений. Но тогда уже дни журнала были сочтены. В марте-месяце он вышел под названием “Наш журнал” и тут же стал предметом пристального рассмотрения цензора Соколова, причём одним из материалов, особо обративших на себя внимание, стали анонимная статья “В чёрные дни”, автором которых был Клюев.

“В этой статье, – отмечал цензор, – подъём революционного движения и его отлив рисуются в таких чертах, которые содержат признаки возбуждения к изменническому и бунтовщическому деяниям”. Это ещё мягко сказано, если учесть смысл огненных инвектив, обращённых против “златоустов”, для которых в очередной (и далеко не в последний!) раз народ оказался “не таким”, каким они его себе представляли.

“В страшное время борьбы, когда все силы преисподней ополчились против народной правды, когда пущены в ход все средства и способы изощрённой хитрости, вероломства и лютости правителей страны, – наши златоусты, так ещё недавно певшие хвалы священному стягу свободы и коленопреклоненно славившие подвиг мученичества, видя в них залог великой вселенской радости, ныне, сокрушённые видимым торжеством произвола, и не находя оправдания своей личной слабости и стадной растерянности, дерзают публично заявить, что их руки умыты, что они сделали всё, что могли, для дела революции, что народ – фефёла – не зажётся огнём их учения, остался равнодушным к крестным жертвам революционной интеллигенции, не пошёл за великим словом “Земля и Воля”.

Проклятие вам, глашатаи, – ложные! Вы, как ветряные мельницы, стоящие по склонам великой народной нивы, вознеслись высоко и видите далеко, но без ветра с низин ребячески жалки и беспомощны, – глухо скрипите нелепо растопыренными крыльями, и в скрипах ваших слышна хула на духа, которая никогда не простится вам. Божья нива зреет сама в глубокой тайне и мудрости. Минута за минутой течёт незримое время, ниже и ниже склоняются полные живым зерном колосья, – будет и хлеб, но он насытит только вер-

ных, до конца оставшихся мужественными, под терновым венцом сохранивших светлость чела и крепость разума.

... Под тяжким бременем, наваленным на крестьянскую грудь, бьётся, как голубь, чистое сердце, готовое всегда стать строительной жертвой, не ради самоуслаждения и призрачно-непонятных вожделений, свойственных некоторой доле нашей так называемой интеллигенции, а во имя Бога правды и справедливости...

Народ знает цену крови, видит в ней скрытый непостижимый смысл и святит имя тех, кто пострадал, постигнув тайну её...

Народ-богочеловек, выносящий на своём сердце все казни неба, все боли земли, слышишь ли тех сынов твоих, кто плачет о тебе и, припадая к подножию креста твоего, лобзая твои пречистые раны, криком, полным гнева и неизбывной боли, проклиная твоих мучителей, молит тебя: прости нас всех, малодушных и робких, на руинах святынь остающихся жить, жить, когда ты распинаем, пить и есть, когда ты наполнен желчью и оцетом!..”

Эта огненная проповедь, где народ впервые у Клюева представлен распятым Христом, относилась не только к Михаилу Энгельгардту, который в статье “Без выхода” изобразил “русскую революцию пузырьём, лопнувшим от пинка барского сапога”. С не меньшим основанием её могли бы принять на свой счёт (если бы знали о ней) авторы грядущего сборника “Вехи”, которые на полном серьёзе считали, что “весь идейный багаж, всё духовное оборудование вместе с передовыми бойцами, застрельщиками, агитаторами, пропагандистами был дан революции интеллигенцией. Она духовно оформляла инстинктивные стремления масс, зажигала их своим энтузиазмом, словом, была нервами и мозгом гигантского тела революции. В этом смысле революция есть духовное детище интеллигенции, а следовательно, её история есть исторический суд над этой интеллигенцией”, и уповали на власть, которая “своими штывками ограждает нас от ярости народной”.

Поистине, у интеллигенции была одна революция, а у народа — другая.

Слова Клюева о “мудрой осторожности перед опасностью” крестьянства, говорящие, что ещё нерастроченные силы затаились в тихом омуте, и о портретах террористки Марии Спиридоновой, которые вставляют в киот с лампадками, — окончательно решили участь журнала с его статьёй: он был подвергнут уничтожению “посредством разрывания на части”.

Клюев таился. Положение его после тюрьмы и казармы, из которой он вырвался ценой больших лишений и мук, было крайне неустойчивым.

Публикация отрывков из его письма Блоку явилась для него неприятной неожиданностью и самой по себе (он не рассчитывал на предание публичности частного письма), и с учётом ситуации, в которой он оказался. “Здравствуйте, господин Блок, — пишет Клюев из Желвачёва, уже не называя адресата по имени-отчеству и без особой сердечности, — Вы напечатали моё письмо. К чему это?”. Переписку, однако, не прерывает, шлёт всё новые стихи, просит прислать “что-либо из новой поэзии”, в частности, книгу Александра Добролюбова “Из книги Невидимой”. Интересуется откликом Розанова на статью Блока. Просит сообщить, “куда можно посылать стихи кроме “Трудового пути”. И замечательное упоминание в одном из писем: “Я пробыл в Питере 4 месяца, хотел зайти к Вам, походил мимо дома, а потом раздумал”. Видимо, чуял, что не пришло ещё время для личной встречи.

Увидятся они лишь через 3 года. А пока — обмен письмами, чтение Клюевым присланной новой книги Блока “Земля в снегу”, ответное письмо вместе со статьёй “С родного берега”. Это ещё один жест — судьбоносный для Блока.

(Продолжение следует)